



УДК 10(С19)

Историография и память в эпоху перемен: борьба за польское прошлое как продолжение политики академическими и неакадемическими методами*

И. О. Пешков

Восточный институт Университета им. Адама Мицкевича, г. Познань

Статья посвящена анализу роли памяти как формы академической и неакадемической репрезентации прошлого на основе опыта политической жизни Польши после 2000 г. Подробно рассматривается специфическая модель восприятия прошлого, согласно которой память контролируется посткоммунистическими элитами Польши на основе иерархии эмоциональных, цивилизованных и причинно-следственных связей как форм проявления национальной судьбы в разные исторические времена.

Ключевые слова: память, репрезентация, политика, Польша.

Демократизация стран Центральной Европы и непосредственно связанные с ней радикальные изменения в восприятии национальной истории привели к триумфальному возвращению прошлого в центр политических дебатов [15]. Прошлое перестало быть рассказом о политических решениях и борьбе с социальной несправедливостью, становясь пространством этнического действия в политике, культуре и экономике. Нормативные идеи о прямой связи между демократией и переходом от защитных к критическим моделям восприятия национальной истории должны были столкнуться с дискурсом национального освобождения, нетерпимым к любым формам сомнений и попыток пересмотра национальных канонов. Следует заметить, что категория *возвращение* обманчива, так как исключает академические и неакадемические голоса, слишком дословно относящиеся к декоммунизации и не замечающие замещения идеологических войн эпохи холодной войны на адаптированные к современным аксиологическим стандартам образы прошлого, поддерживающие демократизацию Польши и выбранный общеевропейский вектор ее развития. В этой перспективе под термином *возвращение запрещенного (коммунистами) прошлого* скрывается группа практик новой инструментализации прошлого согласно национально-конфликтному и национально-интеграционному аксиологическому канону. Так обозначенное *возвращенное*

* Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., соглашение № 14.В37.21.0258 и в рамках Программы стратегического развития ИГУ, тема P222-МИ-002.

национальное прошлое перечеркивает одновременно и реальный исторический опыт, и его социалистические репрезентации.

Реабилитация памяти как легитимной формы исторического знания и развитие устной истории привели к постановке вопросов о социальной роли коллективных представлений о прошлом [16]. Значительно меньше внимания было посвящено более узким вопросам: как выстраиваются конкретные иерархии представлений о прошлом, какова непосредственная роль элит в воспроизводстве исторической памяти и какова возможность диалога между историографией и памятью в ситуации создания национального государства и непосредственно с ним связанной ключевой ролью практик академического описания прошлого. Все эти вопросы будут рассмотрены на основе польского опыта возвращения прошлого в центр политической жизни после 2000 г. [6; 15; 22], в большей или меньшей степени типичного для всего региона Центральной Европы. Специфика этого опыта состояла в своеобразной модели *воспитания прошлым*, в которой контроль посткоммунистических элит над памятью включал четкие иерархии эмоциональных, темпоральных и цивилизационных форм переживания национальной судьбы. Главное внимание будет сосредоточено на конкретных соотношениях словарей, практик самоописания сообществ, темпоральных и аксиологических перспектив, определяющих форму как академических, так и неакадемических форм репрезентации прошлого. Сознательно вынесены за рамки статьи вопросы, связанные с богатой традицией польских исследований коллективной памяти [20], а проблемы постколониальных исследований в Польше рассмотрены исключительно в перспективе ориентализации образов прошлого.

Прошлое в перспективе конфликта дискурсов «согласия» и «чистоты» нации

Рост интереса к общественным формам переживания истории [23] перемещает описанную Мишелем Фуко борьбу между римской и библейской версиями прошлого из удобных университетских кафедр на подмостки общественной жизни. По определению *библейская* версия более эмоциональна, связана с социальными аспектами практик описания прошлого и предельно ориентирована на реализацию обещанной логикой исторического процесса эмансипации сообщества [8]. В случае совпадения дискурсивных и политических различий демократические процедуры стоят перед вызовом взаимоисключающих определений национального сообщества [13; 17], в крайних случаях приводящих к описанию (даже «переописанию») существующей политической реальности в терминах оккупации, заговора и социокультурной доминации со всеми вытекающими последствиями для политических стратегий. Особенно ярко этот процесс происходит в посткоммунистических обществах, где несовпадение коллективной памяти с двумя официальными моделями управления прошлым (уходящей социалистической и приходящей постсоциалистической) создает причудливые конфигурации взаимодействия взаимоисключающих словарей, историософских моделей и аксиологических установок.

После десятилетия концентрации на посткоммунистическом будущем и политики *жирной черты* (отделяющей социалистическую и постсоциалисти-

ческую Польшу и исключаящей ответственность за коллаборацию с социалистическим государством) триумфальное возвращение проблематического прошлого социалистического периода как основного пространства идеологических и политических конфликтов получило в польской историографии название *ревани памяти* [15]. Это определение программно неточно, публичные формы памяти были подчинены конфронтации «проевропейских» и «пронациональных» историков. Это привело к парадоксальной ситуации одновременной блокады некоторых форм просоциалистической и антикоммунистической памяти. Критика действий отрядов антикоммунистического сопротивления в раннем периоде социалистической Польши (не вписывающихся в нормативную модель защитников европейского государства) сочетается с блокадой всех голосов, не вписывающихся в жертвенный образ ПНР как государства террора и безысходности. Например, достаточно распространенная среди старшего поколения польская версия ностальгии по социализму вообще исключена из средств массовой информации, постепенно превращаясь в новую форму *запрещенной памяти*. Память в этом контексте была представлена как результат борьбы двух академических версий инструментализации прошлого, направленных непосредственно на создание определенной формы национального сообщества (европейской Польши, свободной от реакционеров, и национальной Польши, свободной от влияния *ненастоящих поляков* и бывших коллаборационистов).

В обоих случаях проблема состояла в попытке представления инструментальной версии прошлого как способа тотального описания национального общества, что неизбежно провоцировало конфликты ценностей и приоритетов. Доминирующий характер мягкой (либеральной) формы дискурса национального освобождения, с одной стороны, включающего историю ПНР в благородную традицию борьбы поляков за освобождение и объединение страны (что автоматически означало перспективу оккупации, всенародного участия в движении освобождения и крайне негативный образ социалистической Польши), с другой, поддерживающего идею критического патриотизма с его неприятием политического насилия, антисемитизма и недемократических традиций [22], был проблематизирован не только эклектическим соединением разных аксиологических перспектив, но и абсолютной неадекватностью как подходам патриотов, так и представителям левой гуманитарной мысли. Парадоксально критика обеих групп имела достаточно много общего: сомнения во всенародном характере сопротивления советским оккупантам, постулирование своеобразных черт польской государственности межвоенного периода, не вмещающихся в новые стандарты удобного прошлого, непростой характер политических и прежде всего межнациональных взаимоотношений Второй Речи Посполитой. Если правые подчеркивали возвышенный характер национальной традиции, то левые помещали ее в центр националистического безумия модерновых стратегий авторитарных режимов Центральной Европы.

Основной причиной конфликта была символическая перегруженность опыта ПНР, который одновременно является реальным жизненным опытом для большинства участников полемики, частью образа многовековой нацио-

нальной трагедии, пространством национальной жертвенности и опытом национальной солидарности. С этими противоречиями непосредственно связан и тезис о юридической ответственности: правильно прочитанное прошлое должно быть основой справедливого суда над всеми формами национального предательства. Объективными факторами популярности этой точки зрения были долгие и неэффективные процедуры осуждения политических преступников и абсолютно чуждый образу национального освобождения переход существенной части аппарата польской коммунистической партии в посткоммунистические элиты.

Естественно, в этих условиях историческая политика должна защитить нацию от идеологических форм доминанции и сформировать коллективную память, адекватную задачам национального освобождения. Существенной частью этой политики являлась защита от недружественных репрезентаций прошлого, представляющих поляков как инициаторов трагических событий [12; 14]. Несмотря на высокую эффективность этого подхода, он вызвал жесткую критику. Она касалась как формы, так и содержания патриотических версий прошлого. Эмоциональность была сведена к манипуляции и отсутствию профессионализма, идеологические предпочтения представлялись как помеха, под сомнение ставилось само право исследования историком определенных тем [24]. В этой перспективе можно говорить о достаточно интересной попытке политического использования против оппонентов существующих культурных иерархий, связанных с запретом на эмоциональные, мистические и националистические формы переживания прошлого.

Обе стороны стали заложниками новой историософии национального освобождения. Одни в перспективе библейской истории – отрицая ее адекватность существующему положению вещей, другие – пытаясь защищать абстрактную эклектическую конструкцию *прошлого для настоящего*. Это привело к достаточно исключительному уровню эмоционального давления на каждого участника общественной полемики, заставляющего вмещать (а часто и замещать) свой реальный жизненный опыт в историософскую перспективу национального освобождения. В этой перспективе отказ от предложенной модели всенародного участия в борьбе за освобождение страны не только открывал намного более реалистический образ ПНР, но и давал историкам власть не только над коллаборационным прошлым, но и над его сомнительной постсоциалистической интерпретацией. Предложенный правыми историками новый образ национального сообщества представлял классический пример исключющего дискурса чистоты, где *настоящие поляки* приговорены к перманентной конфронтации с многочисленными внешними и внутренними врагами. Попытки описания травматического опыта при помощи инструментализирующего дискурса привели к парадоксальным результатам цензуры собственных биографий и радикальных сомнений в основных героях польского сопротивления.

Прошлое как резервуар юридической и правовой (не)дееспособности: истории и политика определения соответствия

Польская Народная Республика была одной из наименее советизированных стран Восточного блока, с достаточно ярко выраженным полем культурной автономии и ориенталистскими установками по отношению к метрополии, исключаящими возможность глубоких культурных трансформаций под влиянием существующего режима политической доминации. Более того, можно предположить, что именно разрешенные в пользу национальных мифологем противоречия культурной политики социалистического периода привели к распространению модели «дворянской нации» на все население [19]. В момент политического перелома мифологемы национального действия были очень эффективны как инструмент политической мобилизации, но попытки их дословного прочтения создали ряд проблем политического, институционального и методологического характера. Все эти проблемы в большей или меньшей степени касались риторической фигуры «двойного несоответствия», соединяющей моральные и гражданские аспекты. Во-первых, несоответствие касалось абстрактного соотношения индивидуальной биографии и национального эталона борца с режимом. Во-вторых, раскрытое несоответствие вступало в конфликт с посткоммунистической репутацией честного поляка (польки) и его правом на профессии гражданского доверия.

С перспективы времени можно заметить, что субъективная реальность национального эталона заслонила абстрактный и конвенциональный аспект несоответствия. Политические проблемы касались границ влияния прошлого на политическую конъюнктуру и юридическую практику. Было неясным, насколько несоответствие арбитрально принятой культурной норме является преступлением, а не просто несоответствием. Кроме случаев доносов и предательства, границы между правильным и неправильным поведением в социалистическом фрагменте биографии являются контекстуальными и договорными. Большая часть посткоммунистической элиты вышла из структур идеологической поддержки режима (культура, образование, наука), и уровень внутренней автономии участников не менял их функций воспроизводства власти, описанной в терминах оккупации. Выполняя важные символические функции, они были не свободны от контактов с организациями, находящимися под прямым партийным контролем. Контекст воплощения метафоры всенародного сопротивления поставил под вопрос большинство биографий. Общество снова теряло контроль над своим прошлым, попадая в ловушку дословной реализации национального эталона.

Второй не менее важной группой вопросов был характер прошлой нелояльности будущей стране: насколько преступление является результатом непосредственных действий актора, а не (недружественного) описания в новом словаре. Многие рутинные ритуалы социалистического общества (анкеты, подписания обязательств, обязательные встречи с представителями спецслужб перед выездом за рубеж) можно описать в категориях упадка, предательства, коллаборации и последующего укрывания правды. Конечно, многие жители Польши не были довольны мирным характером процесса декоммуни-

зации и искренне желали наказания для преступников предыдущего режима. С этим трудно не согласиться, особенно в случаях применения физического или психологического насилия. Но здесь ситуация была более широкого плана: внимание общества привлекли не известные преступления, с трудом фиксируемые новым уголовным кодексом, а контекст массового возмездия за преступления, сконструированные новым словарем и массовой обработкой архивов спецслужб [15]. В этой перспективе посткоммунистическая Польша была описана как общество, в котором в стройные ряды настоящих поляков пробрались люди с темным прошлым. Роль историка свелась к созданию словарей, срывающих маски, созданные консенсусом национальной судьбы. Двери в рай национального сообщества победителей охранял историк с папкой документов спецслужб, что окончательно политизировало профессию и поставило вопрос о границах ее политической ангажированности.

Механизм политизации прошлого как резервуара юридической дееспособности в настоящем времени создавал новое поле власти конструированных героев и антигероев. Историки давали моральную оценку, не смываемую временем. Парадоксально путь искупления был прерван исчезновением оккупационного государства и периода, в котором можно было извиниться перед народом. После окончания *часа испытания* ошибки социалистического периода уже нельзя исправить. Проблема с механизмом суда времени в том, что он во многом основан на национальной мифологии. В этом контексте строгость морального суда над случайно выбранными людьми происходила из фальшивого определения их исключительности в несоответствии национальным нормативам. По-настоящему их судьба обычна. Участников активного сопротивления в Польше было намного больше, чем в большинстве стран Восточного блока, и трудно не отдать должное их героизму. Но, кроме периодов срывов, это было меньшинство, несоразмерное лояльному большинству. Для большинства поляков дискурс национальной драмы – это больше способ переживания истории, чем собственный биографический опыт.

Здесь можно наблюдать интересный конфликт между нормативной идеей декоммунизации как свободы от контроля памяти и прагматическим подходом к декоммунизации как замене неправильной памяти на правильную. В контексте Польши социалистический опыт имеет двойную принудительность: его насильственное появление гротескно сочетается с насильственным исчезновением из общественного поля. Именно эта сложная структура оговорок, молчания, мимикрии и включения собственных биографий в историософские схемы национального действия не только запутывала участников полемики, но и порождала сильные социальные эффекты в виде обвинений в люстрационной лжи, предательстве и коллаборации, имеющих административные и уголовные последствия. Мы имеем дело с ситуацией, когда два враждующих сообщества историков устанавливали стандарты правильной памяти, которые потом должны были транслироваться гражданам через инструменты исторической политики. В этой перспективе нарративы о прошлом не только становятся пространством решения современных проблем, но практиками конструирования новой политической реальности.

Историк и память: опасные связи

Распространенное в методологической литературе положение о эпистемологическом характере присутствия прошлого обозначает определяющее влияние современных условий на историческое познание в его любых формах. Как в научных нарративах, так и в воспоминаниях «простых людей» смысл прошлого (оценки, уроки, эмоциональный компонент) не существует объективно и является результатом интерпретации прошлого опыта с перспективы сегодняшнего дня [10]. Репрезентации прошлого могут рассматриваться не только как его субъективное отражение, но и как социальные практики, определяющие социальный, политический или академический статус сообщества. В этой перспективе вопрос о критериях соотношений научных и ненаучных форм репрезентации прошлого, о легитимизации существующих иерархий знаний о прошлом неизбежно ведет к проблеме статуса главных арбитров/участников процесса (профессиональных историков).

Наивно-реалистическая (термин Е. Топольского) картина мира, доминирующая у историков постсоциалистического пространства, основана на синтезе между позитивистскими критериями научности, национальной целесообразности, эклектичными заимствованиями из новых подходов и ярко выраженной мотивации на достижение исторической истины. Несмотря на высокий уровень польской школы методологии истории и активную вестернизацию польской историографии после 1991 г., новые теоретические подходы и интеллектуальные моды почти не затронули профессиональное сообщество историков [6].

Классическая позитивистская модель исторических исследований опиралась на постулирование твердых социальных реальностей на индивидуальном и групповом уровне. Общество, вслед за Дюркгеймом, воспринималась как объективная реальность, которая может быть познана и изменена к лучшему. Нации виделись как важные социальные реальности, способные действовать и реализовывать свои собственные интересы. Историк в этом контексте выступал как эксперт реальных географических и политических прав нации. Именно этот фрагмент позитивистской методологии оказался наиболее востребован в эпоху создания посткоммунистических национальных сообществ.

Социалистический опыт не привел к превращению профессионального сообщества польских историков в сеть советских коллективов, сконцентрированных на производстве нужного прошлого, марксизм воспринимался как мимикрия или теоретическая игра, далекая от *нормальной науки*. Среди причин этой ситуации можно выделить: иную (более слабую) степень индоктринации общества, кадровую и методологическую преемственность с межвоенной Польшей, невообразимые в СССР формы интеллектуальной и институциональной автономии историков и стабильную связь с западной (преимущественно французской) историографией. В связи с этим исчезновение марксистского императива в случае историков Польши привело не к попыткам поиска новых учителей, а к массовому разочарованию в новых подходах к прошлому.

Влияние историков на общество не было связано напрямую с новизной концептуализации проблем репрезентации прошлого, но только с новыми эмоциональными и политическими контекстами исторического текста. В огне по-

лемики оказались стандартные, часто полупублицистические исторические тексты, написанные согласно консервативной позитивистской модели и абсолютно не связанные с искушениями постмодернистической историографии. Поэтому частые параллели с немецкими, французскими и испанскими дебатами о прошлом, где на конфликт поколений наслаивался конфликт методологий (а не только аксиологии), немного скрывают оригинальность этой ситуации. Именно сложное сочетание простых текстовых форм и сложных эмоциональных структур, при общем консенсусе о вторичности коллективной памяти перед исторической правдой, отличает польскую полемику от опыта западных соседей.

В связи с этим специфика реванша памяти состояла в инфляции понятий объективности, научности и границ между профессиональными и непрофессиональными высказываниями. Проблема не была связана с ненаучными мотивациями участников или отсутствием профессиональных знаний. С двух сторон стояли ученые, честно реализующие свою модель истории, ответственной перед будущим нации в условиях достаточно жестких культурных установок исторической жертвенности. На уровне отношений история – память это привело к тому, что именно академические версии были подвержены влиянию ненаучных способов переживания прошлого. Эмоциональная ангажированность, демонизация оппонентов, этический шантаж, сложные темпоральные структуры, приоритеты политической конъюнктуры – все это выходило за рамки консервативной модели поиска исторической истины и превращало исторические дебаты в открытое и понятное для непрофессионалов поле дискуссии с проблемной научной легитимностью [24].

Воспитание чувств: эмоции и мессианская темпоральность в конфликте истории и памяти

В связи с элитаристским эталоном национальной культуры, исключающим возможность коллективных форм памяти вне контроля элиты, неакадемические формы репрезентации памяти исключались из диалога не только из-за особой позиции историков, но и как сомнительные в социальной (отсталость) и политической (социалистические сантименты как измена нации) сфере. В этой перспективе импортированный из Франции [18] и широко представленный в публичных дебатах конфликт история – память имел очень далекое отношение к польской ситуации с ее консенсусом по отношению к императиву чуткого академического руководства ретроспективными фантазиями простых людей. Все неакадемические формы переживания прошлого представлялись и продолжают представляться в патерналистском ключе манипуляции: с точки зрения историков и журналистов, причиной неправильной памяти является злая воля бывшей или настоящей элиты страны (коммунистов, либералов, священников, националистов). В этой перспективе можно говорить о симптоматической подмене ключевого понятия в дебатах над памятью, вместо нее обсуждаются аксиологические аспекты выбора эталона прошлого, который должны принять массы. Так обозначенная инструментальная память является синонимом нормы, более простые версии принимают форму патологии.

Прошлое простых не может серьезно восприниматься не столько из-за неправильной фактографической базы или фантастических каузальных схем,

но прежде всего из-за особого эмоционального режима и своеобразной темпоральности. Несмотря на достаточно долгую традицию анализа роли эмоционального фона в восприятии и трансляции исторического опыта в постклассической историографии [6], для традиционной историографии богатый эмоциональный фон является границей акцептации оппонента. Носители памяти, с точки зрения историков, являются не только пассивным и ненадежным источником знания о прошлом, но и пространством дисциплинарных практик воспитания способов переживания исторической судьбы нации. Критерии научной объективности и строгости контрастируют с глубоким эмоциональным контактом с прошлым и своеобразной мессианской темпоральностью, в которой прошлое не только присутствует в настоящем, но и одновременно проявляется как символический смысл настоящего в виде бесконечного продолжения национальной драмы. Особенно в Польше, где религиозно-национальный словарь является основой выражения большей части тематического спектра на политическом, социальном и гендерном уровнях; это вневременное прошлое выходит за традиционные рамки националистических сантиментов и напрямую влияет на политическую и социальную жизнь страны.

Следует заметить, что среди достаточно широкого набора неравенств, вызванных сменой общественного строя и сокращением амбиций государства, символические аспекты долго находились в тени классических случаев экономических, гендерных и социальных механизмов эксклюзии [9]. Фрагментаризация и распад навязанного польскими коммунистами культурного поля (вместе с образами прошлого) долго воспринимался как естественный процесс децентрализации памяти и ее освобождения от государственной политики управления прошлым. Основным противоречием этого периода было несовпадение нормативных идеалов освобождения памяти и реальных практик декommунизации, ориентированных на жесткий отбор правильных и неправильных репрезентаций. Освобождение памяти обманчиво, она подвергается не только опосредованному влиянию национальной историографии и патриотических культурных форм, она цензурируется и очищается. В связи с этим память снова делится на частную и общественную. Все, что не вмещается в новый канон, остается дома, публичные формы подчиняются лекалам сопротивления и жертвы. Постсоциалистическая мимикрия имеет свою цену, словарь религиозно-национального жертвоприношения становится основной формой выражения фрустраций переходного периода и последствий шоковой терапии.

Происходит замыкание общественных дискуссий на словаре национального действия, который, с одной стороны, маскирует социальные и экономические проблемы, а с другой, – как и в других постсоциалистических странах – представляется элитами как единственная легитимная форма восприятия прошлого и настоящего. В этом контексте синтез национальной традиции и неолиберализма (с его сложной аксиологией искупления грехов социалистического периода) мог быть опровергнут только перспективой настоящего освобождения и привычным для поляков ощущением украденной свободы. Парадоксально, но именно запрет на дискурс социалистической ностальгии привел к синтезу постсоциалистической беспомощности, национализма и мистического переживания исторической травмы как основного

механизма адаптации. Провоцируемые элитами массовые эмоциональные срывы и мистические формы, связанные с переживанием прошлого, несут печать борьбы за настоящее в рамках социально возможной картины мира. В этой перспективе практики воспитания памяти являются чем-то больше, чем традиционным снобизмом элит по отношению к примитивным формам знания. Можно их представить как попытки контроля социального недовольства благодаря мифологемам безальтернативности, приоритета этнического над социальным и практикам перевода протестной энергии в экзотические формы переживания прошлого. Прошлое становится эксклюзивным, надо не только четко знать, что помнить (борьбу) и что забывать (социалистический опыт), но и понимать как помнить. Парадоксально, именно приход объединяющей (национальной) перспективы приводит к появлению жестких культурных иерархий и неравенства в репрезентации общего прошлого.

Постколониальная память: когда голоса слабых принадлежат сильным

Интересным аспектом соотношения высокого и низкого прошлого могут быть проблемы с переносом постколониальной парадигмы на польскую почву. Несмотря на высокий уровень теоретической проработки постколониального словаря [5] и перевода значительного фрагмента постколониального канона на польский язык, попытка переноса создала много проблем. Как в случае широко известных и важных для региона публикаций Евы Томпсон, перспектива одновременной ориентализации России и деориентализации жертв российских колониальных практик трудно сочетается с задачей комплексной ментальной деколонизации. Это связано с ловушкой постколониальной ориентализации – попыток репрезентации колониальной травмы при одновременном воспроизводстве западных ориенталистских и колониальных мифологем по отношению к бывшей метрополии [21].

Низкий культурный (неевропейский) статус царской и советской культурной политики во многом маркирует социализм не только как предательство национальной судьбы, но и как навязанный менее культурной страной цивилизационный упадок. В этой перспективе Польша воспринимается как жертва колониальных практик, но травма снимается через культурную иерархию, в которой метрополия занимает более низкое место. Проблемой является не сама форма доминации, на ее бесправное применение более восточным соседом. Польская постколониальная перспектива достаточно далека как от классических форм постколониального анализа [4], так и от описанных С. Ушакиным [2] и Л. Адамс [1] постсоветских практик изобретения идеального доколониального прошлого. Травма российской (советской) доминации продолжает переживаться прежде всего в ключе цивилизационной трагедии, где несоответствие Империи канонам западной культуры трансформирует реальный трагический опыт в нескончаемую агонию ориентализации европейской страны. Уникальность этой стратегии состоит в том, что в отличие от других колониальных и постколониальных ситуаций *автобиография, рассказанная на чужом языке* [2], вообще не воспринимается как правомочная, именно в силу незрелости метрополии для предложения собственных описа-

ний. Польский постколониальный дискурс соткан из противоречий: внешние интеллектуальные моды и внутренние ограничения, связанные с левыми подходами, искреннее сочувствие жертвам колониальных практик при сохранении ориенталистских иерархий, без которых эти практики не были возможны, предельной концентрации на роли метрополии при полном равнодушии к системе ее мотиваций, практик концептуализации Польши и цивилизационным дилеммам [5; 11].

В этом контексте сопротивление, травма и неучастие перестают быть национальным каноном восприятия истории, а становятся цивилизационной обязанностью и единственно возможной формой проявления. Результатом является ситуация, в которой огромный пласт исторического опыта должен быть переписан в категориях цивилизационного конфликта. Все формы, не вмещающиеся в эту модель, воспринимаются как одновременно внешне навязанные (колониальные) и восточные (ориентализация). Основное внимание концентрируется на «переописании» Польши как пространства сопротивления культурной деградации под влиянием внешнего влияния, что приводит к своеобразному выбору тематики: целью становятся не воспроизведение *польского опыта* в режимах доминации, а достаточно стандартизированный набор мартирологических тем и исследования восприятия советского в ценностно ангажированном ключе [1; 7].

Постколониальными воспринимаются формы *непрестижной памяти* (например, воспроизводство традиций социалистического периода), причем делается это в ориенталистической перспективе примитивных культурных форм. Этот контраст между богатством концептуального аппарата и достаточно скромными исследовательскими задачами не случаен, он напрямую связан с описанной выше социальной дихотомией правильной/неправильной памяти и принимает здесь форму уже культурно-цивилизационного отторжения неканонических форм культуры как цивилизационно чуждых. Здесь ярко видно, как элитистские модели памяти, смешанные с элементами постколониального дискурса, дают обратные результаты ориенталистических репрезентаций и выполняют функцию блокировки нижних голосов. Ненужный внутренний Восток представляется как пространство взаимосвязанной культурной и экономической бедности. Ориентализируется не только пространство, но и время: ностальгия по социализму фиксирует актора в *восточном* отрезке времени со всеми вытекающими последствиями для его культурного статуса.

Окончание

Польский опыт декоммунизации прошлого может представлять интерес для российского читателя, связанный со спецификой контекста, реализацией прерванной в России попытки оценки прошлого и общими вопросами, связанными со статусом суда истории. Специфика Польши состоит в наличии посткоммунистических дилемм при полном отсутствии советского контекста в связи с достаточно выраженной культурной автономией ПНР и культурными иерархиями, исключаяющими глубокое влияние метрополии. Политика люстрации кроме правового контекста имеет целый ряд проблем дееспособности описаний прошлого, что часто недооценивается в анализах ее конкрет-

ной реализации. Это прежде всего статус предыдущего режима, выбор нормативных эталонов поведения и словаря, определяющего моральную и юридическую оценку поведения людей. Относительно арбитражный характер выбора перспективы и методик прочтения прошлого привел к достаточно большим затруднениям в реализации политики исторического возмездия. Не недооценивая политические и психологические механизмы сопротивления люстрации, следует заметить, что даже в стране, отличающейся однозначным консенсусом в вопросе эталона национального поведения, попытки суда над прошлым не были теоретически убедительны и быстро приняли форму политической борьбы. Этот опыт может быть полезен для посткоммунистических стран, в большей или меньшей степени заинтересованных в проблематизации коммунистического опыта как поля национального унижения и коллаборации.

Не менее интересен и польский опыт возвращения запрещенного прошлого. Исчезновение социалистических моделей контроля памяти не означало ее окончательного освобождения. Здесь можно наблюдать интересный конфликт между нормативной идеей декоммунизации как свободы от контроля памяти и прагматическим подходом к декоммунизации как замене неправильной памяти на правильную. Неакадемические формы репрезентации памяти исключаются из диалога не только из-за особой позиции академических элит как депозитариев правильной памяти, но и как сомнительные в социальной (эмоциональная и интеллектуальная незрелость), цивилизационной (ориентализация) и политической (социалистические сантименты как измена нации) сфере. В этой перспективе нарративы о прошлом не только становятся инструментом решения современных проблем, но и практиками, создающими новые политические, социальные и культурные реальности.

1. *Адамс Л.* Применима ли постколониальная теория к Центральной Евразии? // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 2009. – № 4. – С. 25–36.
2. *Ушакин С.* В поисках места между Сталиным и Гитлером: О постколониальных историях социализма // *Ab Imperio*. – 2011. – № 1.
3. *Bakula B.* Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. Kwerenda wybranych problemów w ramach projektu badawczego // *Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze* / red. R. Nycz. – Kraków : Universitas, 2011. – P. 137–166.
4. *Cooper F.* Postcolonial Studies and the Study of History // *The New Imperial Histories Reader*. – N. Y., 2010.
5. *Domańska E.* Badania postkolonialne // *Gandhi L. Teoria postkolonialna*. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. – P. 157–165.
6. *Domańska E.* Historia Egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej / E. Domańska. – Warszawa : PWN, 2012.
7. *Domańska E.* Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej. Studium przypadku // *Obrazy PRL. Konceptualizacja realnego socjalizmu w Polsce* / red. K. Brzechczyn. – Poznań : IPN, 2008b. – P. 167–186.
8. *Foucault M.* “Society Must be Defended”: Lectures at the Collège de France, 1975–1976 by Michel Foucault / M. Foucault. – N. Y. : Picador, 2003.
9. *Humphrey C.* The Fate of Earlier Social Ranking in the Communist Regimes of Russia and China // *Institutions and Inequality : Essays in Honor of Andre Beteille* / ed. R. Guha and J. Parry. – Delhi : Oxford University Press, 1999.

10. *Kaplonski Ch.* Collective Memory and Chingunjav's Rebellion // Хотогойдын Чингунжав Туухийн Судалгаанд / ed. С. Чулуун, Э. Жигмэддорж. – Уланбаатар : ШУА-ийн Туухийнхурээлэн, 2010.
11. *Kołodziejczyk D.* Postkolonialny transfer na Europe Środkową Wschodnią, // *Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze* / red. R. Nycz. – Kraków : Universitas, 2011. – P. 117–136.
12. *Korzeniowski B.* Transformacja pamięci – o nieliniowym charakterze przemian w pamięci Polaków // *Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne.* – 2012. – Vol. 4.
13. *Laclau E.* The Politics of Rhetoric. – Colchester, 1998.
14. *Lis D.* (ed.) Wokół „złotych źniw”. Debata o książce Jana Tomasz Grossa i Ireny Grudzińskiej–Gross. – Kraków : Znak, 2011.
15. *Machewicz P.* Spory o historie 2000–2012. – Kraków : Znak, 2012.
16. *Maynes M. J.* Telling Stories. The use of Personal Narratives in the Social Science and History / M. J. Maynes, J. L. Pierce, B. Laslett. – Ithaca and London : Cornell University Press, 2008.
17. *Mouffe Ch.* The Return of the Political. – London, 1993.
18. *Nora P.* Czas pamięci // *Res Publica Nowa* – 2001. – N 7 (152). – P. 37–43.
19. *Poblocki K.* Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce // *Sfera publiczna w mieście* (Marek Nowak, Przemysław Pluciński). – Poznań : Wydawnictwo UAM, 2011.
20. *Szacka B.* Czas przeszły, pamięć, mit / B. Szacka. – Warszawa, 2009.
21. *Tompson E.* Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism / E. Tompson. – Westport and London : Greenwood, 2000.
22. *Traba R.* Przeszłość w teraźniejszości: Polskie spory o historie na początku XXI wieku / R. Traba. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
23. *White H.* Practical Past // *Taiwan journal of East Asian Studies.* – 2010. – Vol. 7, N 1. – P. 1–20.
24. *Zybertowicz A.* Strategie unieważnienia prawdy: na przykładzie dyskusji wokół książki Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka o Lechu Wałęsie, Oblicza przeszłości. – Bydgoszcz : Epigram, 2011.

Historiography and Memory in Transition: the Struggle for Polish Past as a Continuation of the Policy of Academic and Non-academic Methods

I. O. Peshkov

Institute of Eastern Studies of the University of Adam Mickiewicz, Poland, Poznan

The article is devoted to the analysis of the role of memory as a form of academic and non-academic representation of the past based on the experience of political history of Poland after 2000. The author analyses the specific model of perception of the past, according to which memory is controlled by the post-Communist elites of Poland using the hierarchy of emotional, civilized connections as the forms of national destiny during different historical periods.

Ключевые слова: memory, representation, policy, Poland.

Пешков Иван Олегович – кандидат экономических наук, преподаватель Восточного института Университета им. Адама Мицкевича в Познани, ул. 28 июня 1956, 198, Познань, Польша, 61–486, тел. (0–61)8292984, e-mail: i.peshkov@wp.pl

Peshkov Ivan Olegovich – PhD, the Institute of Eastern Studies, lecturer, Adam Mickiewicz University, 61–486, Poland, Poznan, 28 Czerwca 1956 St, Nr198, phone (0–61)8292984, e-mail: i.peshkov@wp.pl